
Наталья Соколова
ДУНЬКИНЫ РАДОСТИ
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Наталья Соколова

Дунькины радости

«Автор»
2026

Соколова Н.

Дунькины радости / Н. Соколова — «Автор», 2026

Главная героиня Евдокия Романова любит тишину и книги. Однажды она не понаслышке узнает, что радость может идти рядом со смертью. Имеет ли человек право скрыть правду и «присвоить» чужую жизнь, даже если мотив – любовь и забота? Что это – предательство памяти или единственно верный выход? А в душе Евдокии шестнадцать лет живет страх, что скажет дочь, если узнает

© Соколова Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Детство 6
Глава 2. Нинка 14
Глава 3. Звезда Альтаир 17
Глава 4. Ритуальные танцы 25
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Наталья Соколова
Дунькины радости

Дуня проснулась, не было еще и шести. Ее тело знало этот день по особому внутреннему календарю: ежегодному приступу горькой боли, когда хочется вдохнуть поглубже, а не получается.

В межэтажном пространстве панельного дома заливался чужой будильник, назойливо, требовательно, уже минут десять. Боже, да выключите его наконец! Дуня хотела еще поваляться в кровати, но решила скрыться в ванной, чтобы в голове не пульсировали эти динь-дили-дон-бом.

Она натянула халат – выцветший, грязно-лавандовый, мягкий после сотен стирок, с пятном от чая на левом рукаве. Шестнадцатый март без Нинки. Шестнадцать лет назад Нинка умерла.

Дуня вышла из ванной. Сейчас она сядет за стол в спальне и напишет очередное письмо – единственный для нее способ высказать то, о чем не говорила ни с матерью, ни с дочерью, которая уже выросла, но все еще казалась Дуне хрупкой, как стеклянный шар на елке.

В шкафу, за коробкой с новогодними игрушками и ватным облезлым Дедом Морозом стоял деревянный ящик. Небольшой, грубоватый, с коряво вырезанным посередине цветком – подарок отца на десятилетие. В ящике лежала пачка писем, не отправленных, без конвертов. Просто сложенные вчетверо листы, исписанные одним, но как будто непохожим почерком: сначала порывистым, с восклицательными знаками и зачеркиваниями, потом сдержанным, спокойным. Адресат всегда был один.

Дуня открыла ящик и подсунула только что написанное очередное письмо. Она спрятала ящик обратно за Деда Мороза и поспешила на кухню, потому что Лиза уже проснулась – послышался сначала тихий, а потом настойчивый звук будильника, ворочанье и ворчанье, как обычно по утрам, скрип половицы и шлепанье тапочек.

Теперь самое время для чая, горячего, ароматного, в красивой, непременно красивой, из тех, что хранят в серванте для особых случаев, обжигающей руки чашке. Дуня привычно достала чайный пакетик, но потом передумала: времени предостаточно, она никуда не спешит и заварит рассыпной чай в чайнике с синими ягодками на боку и еле заметной трещинкой у ручки. Дуня окатила чайник кипятком, всыпала в парящее нутро ложку скрюченных бурых листьев, залила и накрыла сложенным махровым полотенцем – пусть настаивается. Сегодня такой день. Скорбный, но одновременно спокойно-печальный, трогательный что ли…

Доброе утро, Лиза вбежала на кухню, достала из холодильника масло и сыр, наспех соорудила себе бутерброд. О, чаек! Я налью?

Доброе утро, моя радость. Наливай, конечно, Дуня придвинула Лизе чайник и сняла теплое полотенце. Ты опоздаешь, провела рукой по медным дочкиным волосам, густым и непослушным.

Неа, уже бегу, ответила Лиза с набитым ртом и скрылась в прихожей.

Хлопнула входная дверь. Дуня улыбнулась.

Она не знала, что через каких-то три недели Лиза найдет ящик с письмами, что ее тихий маленький мир, который она так берегла, может разлететься на тысячу кусочков, рассыпаться, как старый снег под первым солнцем.

Но пока был только чай и дочь, торопливо чмокнувшая ее в щеку.

Глава 1. Детство

Как же родители могли так жестоко поступить с единственной дочерью и наречь ее этим немодным именем Дуня? В детском саду, где еще царила наивная благодать, имя не причиняло особой боли. Но стоило переступить порог школы, в первый же день Дуня столкнулась с жестокостью одноклассников и почувствовала, как это короткое слово, некогда безобидное, превратилось в тяжкий груз, который ей суждено нести.

И все же у Дуни для своего имени нашлось другое толкование. Бабушка, отцова мать, часто покупала конфеты: квадратные выпуклые карамельки, словно маленькие бочонки, посыпанные тонким слоем какао, темным, как осенняя земля, а сверху – сахарным песком, крупным и шершавым. В народе это лакомство странно называлось «Дунькина радость».

В воображении девочки вставал образ дородной деревенской девушки, в ситцевом платке, с лицом, пышущим румянцем, как спелое яблоко. Она сидит на деревянной лавке у избы, одной рукой держит серый бумажный кулек, а другой отправляет в рот коричневую карамельку. И так девушке сладко и радостно, что на губах ее появляется беззаботная улыбка. Эта картина грела душу девочки в те дни, когда мир становился слишком колючим.

Бабушка любила эти конфеты. Стоили они недорого, «пензия» маленькая, а чай «с таком» бабушка не любила, пила или с сахаром вприкусу, или вот с «Дунькиной радостью». Маленькая Дуня любила конфеты шоколадные, «Белочку» или «Маску», но эта роскошь доставалась только по праздникам.

Когда бабушка заболела и уже почти не ходила, Дуня долго сидела рядом и смотрела в выцветшие глаза. Бабушка держала трясущейся паркинсоновской рукой Дунины ладошки, целовала их блеклыми губами, и девочке становилось от этого неловко, стыдно как-то.

Бабуля, ну что ты, Дуня опускала глаза и осторожно выдергивала руки из сухих старческих ладоней.

Остроносая, с карими глазами, темными прямыми волосиками, Дуня походила на чернобурого лисенка. Она была тонка и хрупка, как ветка ивы, но худоба ее не казалась болезненной – в ней чувствовалась легкость и плавность, а в узких запястьях пульсировала тихая, упрямая жизнь.

Фамилию Дуня носила очень даже красивую – Романова.

Дунино детство в неудобной хрущевской двушке было пронизано запахом настенных и напольных ковров, пыли библиотечных книг, нелюбимых шкворчащих котлет и любимых масляных блинов.

Дуня помнила себя лет с пяти, когда узоры на ковре превращались в головы рыцарей и русалочьи хвосты, швейная машинка – в домик для пупсов, а пыль в солнечных лучах пахла шерстяным лохматым пледом и уютом родительского дома.

Свои сокровища Дуня хранила в картонной коробке: деревянные кубики, плюшевый тигренок, пупсы-голыши и куклы. У двух германских куколок тельца казались теплыми на ощупь, почти живыми; их волосы, шелковистые и густые, ложились в послушные пряди, но лица были серьезными, даже злыми. Три другие эсэсэсэровские куколки личики имели круглые и румяные, сияющие наивной улыбкой. Белесый пластик их тел, мягкий на пятках, отзывался гулко, как скорлупа пустого ореха. Желтые волосенки, некогда пушистые, со временем спутывались в плотную, безнадежную кудельку, которую не могли расчесать даже самые терпеливые пальчики. Дуня рядила кукол в разноцветные ситцевые лоскуты, алые, васильковые, с маковыми цветами, пеленала в белые тряпочки, укачивала на руках, приговаривая слова, выдуманные на ходу, дарила детскую «невсамделишную» материнскую любовь. В сложенной из книг кроватке ее дочки нежились под необыкновенной красоты одеяльцами, которые бабушка, не зная

заморского слова «пэчворк» ловко сострочила из крошечных лоскутков сатина и кримплена на «Зингере» с резными чугунными черными ногами.

Иногда Дуня прыгала с журнального столика с раскрытым маминым зонтом, как с парашютом, и искренне недоумевала, почему ее полет не так плавен, как у парашютистов в день города, и столь недолог, что она не успевала почувствовать воздушных крыльев.

Нескончаемыми зимними вечерами Дуня любила таиться в домике. К краю письменного стола придавливала книгами детское байковое одеяло, которое спускалось вниз до пола, закрывало пространство между двумя тумбами и превращалось в дверь только что построенного жилища. Дуня ставила на пол настольную лампу, и в домике загорался свет. Для уюта – коврик и подушка, для правдивости – печеньки на блюдечке. В доме непременно должны быть еда и уют. Дуня аккуратно отгибала одеяльце, забиралась в домик и плотно придавливала изнутри – чтобы не открылось. Где-то рядом бубнил телевизор, щелкали мамины спицы. Дуня наслаждалась уединением и чувствовала себя полноправной хозяйкой игрушечного мира в периметре письменного стола. Генетическая память, берущая начало из материнской утробы, диктовала желание укрыться там, где тепло, сытно и безопасно.

Дуне нравилась эта маленькая квартира, которую будто намеренно подогнали по размеру и внутренним детским переживаниям. Так пара новых неношеных туфель лежит в коробке ровно от бортика до бортика.

***

Свой восьмой июль Дуня оставалась под бабушкиным присмотром. Родители работали с восьми до пяти на приборостроительном заводе, под отпуска выпросили июнь и август, июль оставался неприкаянным. Утром Дуня вставала, одевалась и шагала через четыре дома. Бабушка болтала с соседками на лавочке у подъезда, ждала внучку.

Потом шли домой и завтракали. Скромная, нехитрая, с деревенской историей еда приводила девочку в восторг: ноздреватый румяный манник, крупинка к крупинке, толстый и упругий, как матрас, черничный кисель густоты такой, что ложка стоит, запеченная в духовке пшенная каша под тонкой трескающейся корочкой.

После завтрака выбирались во двор. Дуня убегала на горку, скатывалась, отшибала копчик в конце пути, или наоборот, с разбегу взбиралась снизу вверх, хватаясь за бортики и громыхая горячим железом; потом ковырялась в развалившейся песочнице, которую почти растащили на кошачьи туалеты.

Бабушка усаживалась на лавочку к соседкам. В летних ситцевых цветастых платьях, неизменных платочках на голове, они сидели рядком, бедро к бедру, как матрешки, ладные, чуть разморенные дневной жарой.

Обычный день начался точно так же, как и предыдущий. Жаркий воздух плавился и колыхался на солнце. В тени было чуть легче, но все равно душно, казалось, эту плотную пыльную взвесь можно резать ножом, как овсяный кисель. Дуня устала от солнца и отправилась по двору искать тень, чтобы немного передохнуть. Соседний дом стоял под углом к бабушкиному, почти перпендикулярно. Тамошние лавочки прятались под старыми кустами сирени.

Дуня направилась туда, чтобы отсидеться в прохладе, побежала наискосок, но вдруг осеклась и встала.

Он сидел на одной из лавочек рядом с пожилой женщиной. Маленького роста, такого, что ноги не доставали до земли и безжизненно болтались, сгорбленный, с лысой, опущенной вниз головой. Изредка он почесывал свой плоский, будто придавленный затылок. На безбровом бумажном лице тускнели рыбьи глаза с огромными подглазинами, которые висели чуть не на полщеки. Из полуоткрытого рта свешивалась густая нитка слюны. Старенький коричневый пиджак, видно, с чужого плеча, короткие засаленные брюки, грубые черные ботинки с высокой жесткой пяткой – все в нем было неряшливо, угрюмо, нелепо.

В руках человечек держал пустой мундштук, изредка покручивая его непослушными пальцами, подносил к губам, дул в узкую дырочку. Он курил сосредоточенно, будто делал очень важное дело. Женщина сорвала ветку сирени и время от времени отгоняла ею от человечка приставучих мух. Потом вынимала из кармана ситцевого халата платок и подбирала с его подбородка убегающую слюну.

– Бабуль, а это кто? – Дуня подбежала к «своей» лавке и махнула в сторону странной пары.

– Это баба Таня.

– Нет, рядом с ней.

– А, это Вовка-дурачок, бабытанин сын.

– Сколько ему лет? Он маленький?

– Не маленький, ему уж лет сорок, поди, или больше, – махнула рукой бабуля.

– А как он без сигареты курит?

– Так это не по правде. Сам-то он ничего не умеет. Увидал, как мужики курят, да и начал к ним руки тянуть. Мычит, хватает, мол, дай и мне тоже. Вот баба Таня и дала ему мундштук старый, пусть сосет, тешится. А Вовка-то и рад.

– Настоящие сигареты ему нельзя что ли? Ты же говоришь, он взрослый.

– Боже упаси! Взрослый, а что толку-то, весь дом спалит.

– Бабуль, а почему он такой? – не унималась Дуня.

– Так почем же я знаю, –поправила платок бабушка, – Боженька его таким сделал, вот так и живет. А на Бога в суд не пойдешь.

Потом только, спустя лет десять, Дуня узнает предысторию Вовкиного рождения. Бабе Тане было тогда чуть больше двадцати лет, и работала она фрезеровщицей на моторном заводе. Шла после вечерней смены, напал на нее мужик, затащил в кусты и взял силой. Незамужняя Таня и мужчин до той поры не знала, а с первого раза взяла и понесла. Аборт делать не стала. Переживала сильно, люди судачили, что нагуляла, да еще сынок родился с тяжелой умственной отсталостью. Таня ребенка в роддоме не оставила, в приют не сдала, все с ним, все сама. Да и как оставить – своя кровиночка.

Дуня привалилась к жаркому бабушкиному боку и слушала взрослые разговоры. Бабуля рассказала, что последние лет двадцать баба Таня работала почтальоншей, быстро разносила почту по району и бежала домой – нельзя Вовку одного надолго оставлять. Надо и покормить, и переодеть, если потребуется. Иногда и набезобразит, нашкодит, смахнет чего непослушными руками на пол, а Тане убираться. Дверь в кухню на ключ, чтоб Вовка газ не пустил, спичек не зажег. Только вряд ли может он пустить газ и черкнуть спичкой. Мамкиными молитвами еле ходит, ноги-руки не слушаются. На третий этаж минут по двадцать поднимаются. Бывает, Вовка падает, когда ноги запутаются, так кричит, бедный, громко, надсадно, будто в трубу. Но Таня боится: а вдруг, береженого Бог бережет.

К вечеру, когда солнце спряталось за верхушки тополей, баба Таня с Вовкой пошли гулять по двору. Дуня, любопытствуя, пристроилась следом.

Вовка шагал медленно, почти не отрывая ног от земли, громко шаркал тяжелыми жесткими ботинками. Баба Таня крепко держала сына под руку. У клумбы Вовка остановился, нагнулся слегка и замычал.

– Да, цветики, цветочки, – говорила баба Таня.

Они шли дальше. Вовка останавливался и снова мычал, но мычал сильнее и громче. Дуня испугалась, но потом поняла, что эти звуки означали радость.

– Голуби, мой хороший, голуби, – повторяла баба Таня. – Гули-гули-гули!

Вовка смотрел на мать, будто ждал чего. Баба Таня хлопнула себя по лбу свободной рукой и воскликнула:

– Ай, господи, хлеба-то я не взяла, забыла.

Для верности мать пошарила в карманах халата.

– Точно, забыла.

Вовка кричал, как раненый. Баба Таня успокаивала сына, ласково похлопывала по руке:

– Ну, полно, полно, людей распугаешь. Завтра покормим, радость моя.

Потом встретились кошки, собака и редкие прохожие, которые норовили обойти эту пару стороной. Бабульки из соседних домов здоровались с бабой Таней, сюсюкали с Вовкой и качали головами, как только пара поворачивалась к ним спиной. Баба Таня обняла Вовку, приложила лысую голову к груди и поцеловала в затылок. На лице ее сияла улыбка, полная нежности и обожания. Ее сыночек, маленький невзрачный инвалид, был единственной звездочкой, золотиночкой, смыслом жизни, казалось, неудавшейся. Вовка тоже улыбался беззубым ртом, прикрыв глаза, роняя слюну.

Дуня смотрела, как баба Таня тетешкает такого взрослого и такого беспомощного ребенка, и думала, что неправа бабуля: Вовка еще много чего умеет. Может улыбаться, значит, чувствует, значит, живет человек. Дуня этому отчаянно радовалась.

Вечером, когда пришла мама, Дуня спросила:

А почему баба Таня называет Вовку «моя радость»?

Так он ее сын.

Он некрасивый, я его боюсь. А Баба Таня говорит «радость». Почему?

По кочану, вздохнула мама. Молчи уж лучше.

Дуня не обиделась на мать, знала, что после смены Вера Петровна, усталая и раздраженная, часа два отстояла в очередях, чтобы добыть семье на ужин дохлую сизую курицу с острыми когтями на восковых желтоватых лапах, пару рыбных консервов и, если повезет, сметаны. Домой возвращались быстро, Дуня едва поспевала: мама торопилась готовить ужин, да еще постирать Дунины маечки-носочки, перевести дух у телевизора и рухнуть на узкую половину дивана-книжки, чтобы назавтра вновь с восьми до пяти паять платы для радиодеталей.

Дуня держала маму за руку и размышляла: Вовка не прыгал со стола с раскрытым зонтом, не читал книг, не елозил в раскрасках цветными карандашами, высунув от напряжения язык, не пускал в ванной бумажных корабликов, не пел песен, кривляясь перед трюмо, как эстрадная звезда. Да много еще чего не делал. Но Вовкин мир был похож на ее собственный, тот, что под столом. Мир величиной с кусочек двора, укрытие размером с мундштук и крышей с лоскуток неба. Тот же двор, те же прогулки с мамой за руку, день так же сменяется ночью, а ночь превращается в день. Все так же, только в Дуниной жизни чуть больше слов, красок, впечатлений, чуть больше памяти.

Пролетел месяц. Август Дуня провела с мамой на море, а потом начался учебный год. Бегать к бабуле стало некогда, да и незачем. Она сама приходила к внучке: забирала из школы, разогревала обед, присматривала.

На другое лето у бабушки во дворе Дуня не увидела ни бабы Тани, ни Вовки. Где они?

Так Вовка умер еще по весне, чай, вот только снег сошел, ответила бабуля.

Дуня помолчала, потом отозвалась:

Он же еще не старенький. Ты говорила, сорок лет.

Дуниным родителям тоже около сорока, и это неприятно царапнуло девочку изнутри. Екнуло.

Говорят, дурачки долго не живут, отвечала бабушка, – они сами не такие, и внутри у них что-то не так.

А баба Таня?

Тоже умерла. Не смогла без Вовки жить, затосковала. Сердце разорвалось у нее, вот и ушла за ним, и двух месяцев не прошло.

Дуня не плакала, но вдруг кончился воздух, зажгло где-то внутри, пониже шеи. Хорошо, что баба Таня там, рядом с Вовкой, снова будет присматривать за ним, поддержит под руку, не давая упасть, поцелует в плоский затылок и вытрет платком сырой подбородок.

Заплакала Дуня позже, вечером. Впервые она почувствовала смерть так близко, за четыре дома от ее собственного. Ушли люди, хотя и немного, но знакомые. Это с чужими легко – то ли был, то ли не был. Со знакомыми по-другому: жили, чувствовали, смеялись, плакали, и вот уж их нет.

***

Школу Дуня не любила. Учеба ее не тяготила, напротив, даже нравилась, особенно в начальных классах. Но в школу не тянуло. Ей не нравились шумные перемены, когда мальчишки оголтело носились по коридору, сбивая с ног, кидались портфелями и грязными меловыми тряпками с криками «Ты сифа!». Обижали одноклассницы. Они собирались кучками у окон, и стоило Дуне приблизиться, как шушуканье обрывалось, взгляды скользили мимо, а спины поворачивались к ней стеной. К старшим классам это стало невыносимо: тела девочек округлились, обрели плавные изгибы, груди и бедра наполнили коричневые платья школьной формы мягкой, женственной плотью. У всех, кроме Дуни. Ее фигура оставалась прямой, как спица, платьице висело на ней мешком. Раздражали одноклассники – придумывали ей прозвища, толкались или били учебником по голове, и так больно, что клацали зубы и темнело в глазах. Да еще имя это дурацкое…

Она не плакала. Просто глубже уходила в себя, и никто не замечал, как она смотрит на них – внимательно, без злобы, почти с жалостью. Ей не было дела до их криков и сплетен.

Удачей для Дуни становилась неожиданная простуда или подхваченная в той же школе инфекция. Можно преспокойно болеть и две недели не ходить на уроки. Ничего, она сама по учебникам разберется, догонит и перегонит весь класс. Омрачались болезни мамиными оханьями «Горе луковое, опять заболела», ее ворчливой руганью «В кого ты у меня такая малохольная, лучше бы парень родился, глядишь, покрепче бы рос», «Вот так я и знала, заболеешь после этих коньков, неслух».

Ругалась родительница неспроста – болела Дуня часто, серьезно и обстоятельно. Наворчавшись, мать начинала истово лечить дочь: заставляла полоскать горло ромашкой и дышать паром картофельных «мундиров», сыпала сухую горчицу в носки, грела молоко со сливочным маслом от кашля, натирала грудь барсучьим жиром. Зато днем, пока родители трудились, Дуня наслаждалась тишиной и книгами, лепила из пластилина, рисовала. Красота!

Даже мало-мальски приятных воспоминаний о школе у Дуни не осталось. Нужно ли говорить о том, что на встречи выпускников она не ходила. Охи-ахи, как все изменились, воспоминания о школьных годах чудесных – «А помните, Витька-то… а-ха-ха-ха», «Это еще что, а вот мы с Саней тогда… гы-гы-гы» – объятия и уже подвыпившие лобызания, бесконечные вопросы «Ну что, ты сейчас где? Кем работаешь?», непременное коллективное фото на память. Тьфу!

Так что одиннадцать классов общеобразовательной средней школы Дуня, как говорила мама, «допинала» не хорошо и не плохо, без троек, но с редкими пятерками по русскому языку, литературе и рисованию, и тихо перетекла в стены педагогического университета под материнское напутствие «Ума нет – иди в пед».

Вот библиотека – совсем другое дело. Книги Дуня обожала. Девочке не исполнилось еще и пяти, когда она научилась читать, в шесть лет записалась в детский отдел библиотеки (он назывался чудным для ребенка словом «Абонемент») и раз в неделю таскала домой стопку книг. Для этого у Дуни имелась специальная сумочка, холщовая, с вышитым голубым оленем.

В библиотеке стояла такая тишина, что даже кашлянуть Дуня боялась, казалось, на нее зашикают и будут ругать. Она ступала тихо-тихо, перекатывала ступню с пятки на носок осторожно, крадучись. Но тревожилась она зря, вестибюль библиотеки почти всегда пустовал, и только гардеробщица тихо дремала на стуле.

На абонементе тоже стояла тишина. Большие панорамные окна двухэтажного здания из стекла и бетона были закрыты тонкими желтыми шторами. Даже зимний робкий свет, пробивающийся сквозь кисейное полотно, создавал иллюзию солнечного дня. Пахло книгами. Дуня обожала этот запах. Она медленно бродила между стеллажами, читала названия на видавших виды переплетах, проводя пальчиками по корешкам, пробегала глазами аннотации, рассматривала картинки. Библиотекари Дуню знали, часто предлагали девочке книги – интересные, не оторвешься.

Из библиотеки Дуня спешила, чуть не бежала домой, зачитывалась, порой забывая пообедать. В маленькой двенадцатиметровой комнатке, в теплом круге света торшера, она садилась в зеленое потертое кресло, клала на худенькие, как у кузнечика, коленки книгу, потрепанную, с пожелтевшими страницами, с заломленными уголками, и читала. Буквы переставали быть просто знаками, слитыми в слова, но становились дыханием другого человека, запахом незнакомого места, звуками старого дома. Глаза бежали по строчкам, а мысли стремились туда, в тот дом и то время. Колени поджаты к подбородку, плед сполз на пол. Вздох сам вырывается из груди, будто это сама Дуня, а не Герда отправляется выручать Кая.

А за окном жил другой мир: во дворе лаяла собака, где-то плакал ребенок, звенел проезжающий трамвай. Но эти звуки становились только фоном, как шорох листьев, за спиной у девочки, которая читала. Вся жизнь переместилась сюда, между страниц, где каждая запятая – пауза для вдоха. И неизвестно, какой мир настоящий. Дуня закрывала книгу, возвращалась в комнату медленно, как после затянувшегося сна, некоторое время балансируя на грани вымысла и реальности, а на душе было спокойно и радостно.

***

В редкие выходные, когда мама не привлекала отца к домашним хлопотам, они с Дуней шли гулять. Уходили надолго, на полдня или больше, бродили по улицам и улочкам, петляя между старыми купеческими домами с резными наличниками и советскими пятиэтажками, построенными в семидесятых. Отец рассказывал истории своего детства: как бегали на реку удить рыбу самодельными удочками, как жгли костры на пустырях, гоняли мяч, обливались водой с городских колонок, которые торчали во дворах железными гусиными шеями.

Летом выбирались на лодочную станцию, где брали лодку и переплывали на другой берег Волги, на песчаную косу, лузгали там семечки, купленные часом раньше у старушки-лоточницы в платке цвета выгоревшей вишни. Дуня бегала босыми ногами по воде, у берега теплой, как парное молоко.

Когда летняя жара спадала, ближе к сентябрю, отец водил Дуню в сквер, где они катались на электрических машинках, подрезая черными резиновыми бортами другие машины, и от души смеялись. Дуня изо всех сил давила на педаль тонкой ножкой, а отец лихо выворачивал руль, старался сделать побольше виражей, чтобы порадовать дочь. Потом они садились на колесо обозрения, которое почему-то называлось «Чертовым колесом», в желтые железные корзинки с бордовыми зонтиками-крышами. Они смотрели на узкие улочки, убегающие от сквера лучами в разные стороны, ржаво-коричневые и серые крыши домов, дымящую заводскую трубу ближе к окраине, мост через Волгу, похожий на пролетающую над водой чайку.

Отец, немногословный, тихий, будто застенчивый, постоянно что-то ладил по дому: чинил розетки, мастерил шкафы и антресоли, перематывал удочки и перевязывал к ним крючки, точил ножи, крутил фарш на котлеты. В назначенное Богом время он так же тихо ушел: заснул в кресле перед телевизором и больше не проснулся.

Дунина мама, Вера Петровна, была женщиной угрюмой и строгой. Наверное, сложись ее жизнь по-другому, не таким стал бы и Верин нрав. Старшая из семерых детей, она уже с шести лет присматривала за младшим братом.

– Вера, брось свои куклы, посмотри за Славиком, пока я посуду помою. Вера, что ты там ерунду какую-то рисуешь, поиграй с братом, не слышишь, что ли, он плачет.

Когда Вере исполнилось девять, появился Коля, еще через пару лет – Леночка. К семнадцати годам на Вериных руках росли шесть младших братьев и сестер.

– Вера, вечером уроки сделаешь, погуляй с Толей и Сашей. Нашла время книжки читать, белье еще не погладила. Уроки с Колей сделала? Ну вот, а гулять собралась. Никаких гулянок!

И Вера устала. Злое бессилие ее не знало границ. Кто просил рожать столько детей? Она не просила! Кто давал согласие нести эту глыбу чужих нужд, навалившуюся на ее еще неокрепшие плечи? Она не давала! Вера не хотела становиться матерью для материнских детей, не выбирала судьбу вечной няньки – той, что ходит за другими, пока ее детство утекает сквозь пальцы, как вода. У девочки и подружек-то не было. Был только бег – из школы домой, к стирке и глажке, к чужим урокам, прогулкам с малышней. Иногда, глядя на девочек, которые прогуливались под руку с подругами, она чувствовала, как внутри что-то сжимается, тихо, без слез, но до боли.

Верины попытки хотя бы ненадолго дезертировать из стремительно плодящегося муравейника пресекались материнской бранью.

– Куда намылилась, а матери кто помогать будет? Неблагодарная! – орала родительница, стегая дочь сырым кухонным полотенцем.

Отца Вера почти не видела: он батрачил на двух работах, чтобы прокормить всю ораву, и приползал домой ближе к полуночи.

Вера выучилась в ПТУ на радиомонтажницу и в девятнадцать лет выскочила замуж за однокурсника Пашку Романова, щуплого малохольного паренька, любившего ее до беспамятства.

– Пашка, женись на мне, – огорошила она молчаливого Павла, который после занятий, по обыкновению, тащился в провожатых. Пашка, не мечтавший даже о поцелуе, вытаращил глаза, закивал головой и впервые осмелился взять Веру за руку.

Вера просто сбежала. Она вырвалась из липкой паутины сырых пеленок и замаранных подгузников, хаоса разбросанных игрушек, детсадовских поделок и школьных тетрадок, сбежала от приторных запахов молочных каш и кисло-сладких срыгиваний, без сожалений оставила дом, в котором у нее не было даже своего угла, а только узкая койка, затерянная среди детских кроваток, словно остров в море.

Связь с родителями и ватагой братьев и сестриц Вера оборвала, решительно и неотвратимо перерезала эту пульсирующую пуповину и годами не интересовалась, как там Слава, Коля, Лена, Толя, Саша и Светочка.

Мужа Вера не любила, но не развелась и до последних дней в душе благодарила его за свое избавление. Вот только детей она не хотела. Совсем. Тайком от мужа поставила внутриматочную спираль, чтобы, не дай Боже, не забеременеть, и на много лет избавила себя от постылых материнских забот. Только к тридцати годам, когда Паша уже всерьез занервничал и грозился собственноручно водить жену по врачам, Вера вынула спираль и родила единственную дочь, которую назвали в честь Пашкиной бабушки – Евдокия.

Вот только так и не проснулась в Вере Петровне душевная радость. Она постоянно несла на плечах камень призрачного долженствования. Ее не отпускало чувство, будто все вокруг только и делают, что пользуются ею. Вера Петровна сердилась и ворчала, отыгрывалась на муже и дочери за тринадцать лет украденного детства, даже когда семейные хлопоты уже не обременяли и даже доставляли удовольствие.

Вера выросла без похвал и нежностей. Не освоив этого простого искусства, она не умела дарить теплоту ни мужу, ни дочери. Когда Дуня с гордостью протягивала дневник с пятеркой, Вера Петровна лишь кивала: «Ладно, иди есть, ужин стынет». Слова ее падали в тишину, как камешки в глубокий колодец, не вызывая даже легкого отзвука. Вокруг дочери Вера Петровна воздвигла крепость заботы из аккуратно сложенных носочков, дымящихся блинов, шерстяных вязаных свитеров. Стены этой крепости были крепки, как броня, надежны и безупречны.

Только она не замечала, как Дуня плачет в подушку. А только и стоило сказать: умница, молодец, моя радость.

Иногда Дуне казалось, что мама ее не любит. Но разве совсем не любящая мать покупала бы ей игрушки, сладости, катала в парке на каруселях, водила в кукольный театр, дарила подарки? Было все, кроме нежности. Почему Вовке-дурачку досталось больше материнской ласки, чем ей? Зачем надо прятать чувства, словно в шкатулку под замок, в конверт под матрас? Ответов маленькая Дуня найти не могла.

Со временем обиды на мать понемногу утихали, съеживались, эмоциональная тишина стала привычной, а потом и сама Дуня, перехватив эстафетную палочку, стала держать сокровенное при себе.

Глава 2. Нинка

Нинка Лопатина стала той отдушиной, в которой так нуждалась Дуня в ненавистной школе. Хорошенькая девчонка с копной рыжих непослушных волос, она оставалась лучшей и единственной Дуниной подругой с первого класса и до последнего дня. Нинка была на год старше одноклассников, выше ростом и сообразительнее, чем другие дети.

Дружба девочек случилась в первую неделю учебы. Дуня не помнила, как они сошлись. Наверное, потому они и потянулись друг к другу, что не интересовали одноклассников, каждая по-своему. Дуня, тихая, хрупкая девочка с тощей темной косичкой, последняя в шеренге на уроке физкультуры, «Дунька-Манька Форточкина». Лишний раз слова не скажет, только глаза опускает. Серьезная слишком. Кому понравится такая компания.

Нинку одноклассники не любили за громкий голос, резкие движения и независимое мнение об окружающей действительности. Порой она становилась откровенно грубой и дерзкой, бесцеремонно отбривала обидчиков: «Жопе слова не давали», «Отвали, моя черешня», «Отвянь, чувак, прикинься ветошью». Девчонки не хотели дружить с Нинкой, мальчишки дразнили Кривой Вешалкой. Действительно, девочка ходила, слегка заваливаясь на один бок, но всегда держала осанку, отчего имела горделивый, заносчивый вид. Это не играло на руку в отношениях с одноклассниками, но вовсе не мешало. Никто, кроме Дуни, не знал о ее «железяках».

До семи лет Нинка не знала проблем. Родители души в дочке не чаяли, холили и лелеяли позднего, долгожданного, вымоленного у Боженьки ребенка. Беда ворвалась неожиданно, налетела, не дав опомниться. У Нинки обнаружился прогрессирующий сколиоз и стал развиваться стремительно, безвозвратно. Родители что только ни делали: и массажи, и гимнастики, и к бабкам-знахаркам возили. Все без толку. Нинку скручивало так, что становилось трудно ходить и дышать. Ребра и позвоночник грозились сдавить легкие, сердце, желудок и расплющить девочку изнутри. Она терпела ежедневную боль, по-детски надеясь на волшебство. Потом Нинка рассказывала об этом Дуне, и та плакала горько, навзрыд, обнимала подругу сильно-сильно, желая забрать хотя бы часть ее боли.

Оставалось одно – операция. С молотка улетело все, кроме небольшой двухкомнатной квартирки. Родители влезли в долги, по крупице, по толике собрали нужные деньги, отвезли дочку в Москву, где позвонки скрепили титановыми стержнями. Нинка любовно называла импланты «мои железяки».

Болезнь отступила, попятилась, как незваный гость, вышла из комнаты, в которой она хозяйничала долгие месяцы, оставив за собой лишь слабый запах лекарств в воздухе и смятую простыню. Нинкина спина не стала прямой и здоровой, но сколиоз замер и больше не возвращался. Первый класс девочка провалялась в больницах и санаториях и пошла в школу на год позже других.

Нинка нисколько не чувствовала себя больной или ущербной и с первых шагов их дружбы истово защищала Дуню от девчоночьих и мальчишеских нападок. Стоило кому-то обозвать или по-другому обидеть подругу, он тут же получал мощный ответный удар кулаком в спину или учебником по голове. Нинка с обидчиками не церемонилась. Все закончилось тем, что их оставили в покое и не донимали, парочка варилась в соку своего неразлучного дуэта, отдавая друг другу детские сердца, и многие годы благодарили судьбу за то, что у Нинки есть Дуня, а у Дуни – Нинка.

В пору старших классов у девчонок существовал свой тайный ритуал. Они бегали ночевать друг к другу, и от этих ночных бдений веяло чем-то древним, обрядовым. При свете маленького ночника, который отбрасывал на потолок причудливую тень, похожую на птицу, они зарывались с головой под одеяло и шептались обо всем на свете. Нинкины переживания

всегда плескались через край, и она изливала их в самое Дунино ухо, доверяя то, о чем не говорила при свете дня. Непослушные рыжие Нинкины волосы нещадно щекотали шею, щеку и нос. Дуню это раздражало, она морщилась, водила носом и мотала головой, лишь бы увернуться от рыжих настойчивых прядей, но безуспешно. Нинка заполняла собой все пространство. Вскоре от горячего Нинкиного дыхания под одеялом становилось душно, и под неугомонный шепот Дуня проваливалась в сон. Наутро выяснялось, что она заснула, как всегда, на самом интересном месте. Нинка не обижалась – главное крылось не в конце истории, а в самой возможности быть выслушанной, в этом ночном единстве, которое связывало их крепче любых слов.

Еще Нинка любила врать. Она делала это редко, почти бережно. Выбор слушателей не был случаен – он подчинялся какому-то древнему, почти звериному чутью. Она подходила к человеку, и вдруг понимала: этому можно соврать. Не тому, кто слаб или наивен, а тому, чья душа уже несла в себе едва уловимую трещину, тайную готовность поверить в ложь. Как собака, которая улавливает страх в чужом запахе, Нинка чуяла в людях эту затаенную потребность быть обманутыми. Тогда она начинала заливать, исступленно и виртуозно, и Дуня всегда дивилась, как в голове подруги рождаются такие фантазии.

Нинка лгала не из грубости или корысти. Она вплетала в разговор ниточку вымысла – о дальней поездке, о случайной встрече, о чудесном спасении – и следила, как собеседник ловит эту нить и идет за ней, как на поводке. Нинка не смеялась потом, не хвасталась, просто уходила, оставляя за собой легкий шлейф нереальности, как запах дыма после погасшей спички. Ложь ее была способом осторожно прикоснуться к чужой душе. Определенной цели у Нинкиного вранья не было.

– А я верить никого не прошу, – Нинка вскидывала вверх густые брови и прищуривалась. – Верить или не верить – это личное дело каждого. На заборе тоже много чего написано, а по правде там дрова.

Дуне Нинка не врала.

Иногда Нинка бедокурила, воровала из любопытства. Брала она сущие мелочи: чупа-чупс в яркой бумажке, леденец, шоколадка, спрятанная в кармане джинсов, – не вещи, а поводы для тайны. Нинка прижимала добычу к бедру, чувствуя под тканью запретный предмет, и шла к выходу, будто прогуливалась между полками.

Сердце в это мгновение билось так громко, что, казалось, вот-вот вырвется сквозь горло и предаст ее. В ушах шумела кровь – сейчас, сейчас схватят. Но лицо оставалось спокойным, как поверхность пруда в безветренную погоду. Обычная девочка, зашедшая за хлебом, а не воришка с леденцом в кармане.

Нинку пьянил этот контраст, когда внутри душа рвет и мечет, а снаружи не дрогнет ни один мускул. «Так-то мне эти сладости на хрен не сдались», - смеялась Нинка. Она хотела почувствовать, как тонка грань между порядком и хаосом, между «можно» и «нельзя» – и как легко, одним движением пальцев, переступить эту черту, оставшись при этом незамеченной, целой. Каждый раз, выходя из магазина под звон колокольчика над дверью, она уносила с собой не конфету, а дрожащее, сладкое знание: она смогла. И никто не узнал.

– Ниночка, ну зачем ты это делаешь, не надо, – Дуня чуть не плакала.

– Ладно, Дуняша, – обнимала подругу Нинка. – Все же хорошо закончилось.

И всегда божилась, что это в последний раз.

Нинкиных родителей часто вызывали в школу.

– Доченька, что на этот раз? – спросила мама. Нинка тогда училась в седьмом классе.

– Да вообще ничего такого! – возмутилась Нинка. – У Светки Петровой деньги пропали, сто рублей. Она Игоря Матюхина обвинила, типа он взял. И классной нажаловалась. Классная заставила его при всех карманы выворачивать. А Игорь не мог, ни за что не мог взять!

– А ты что?

– Я подошла и вытряхнула все шмотки из ее рюкзака, и сто рублей эти выпали. Видно, завалились куда-то, а она не нашла.

– И все? – мама понимала, что за такое в школу не вызывают.

Нинка опустила глаза.

– Ну, еще назвала Светку слепой курицей и сказала, чтобы она свой рот поганый на нормальных людей не раскрывала. И по башке двинула.

– Ох, доченька…

Хотя Нинка иногда позволяла себе хулиганские выходки, воспитание удерживало ее от действительно дурных поступков. Родители смотрели на все снисходительно, полагая, что это возрастное, дочь перебесится, и радовались уже тому, что Нина жива-здорова. Дуню они обожали за кроткий нрав, доброту, мягкость и крепчайшую дружбу с дочерью, считая ее присутствие гарантом того, что Нинка не собьется с пути. Мысль о том, что Нинка может плохо влиять на подругу, им даже в голову не приходила.

Дома Нинка преображалась, становилась мягкой и ласковой, как кошка. Она любила валяться на диване со стареньким кассетником и мурлыкать песни себе под нос. Вечерами, прилежно и педантично сделав домашку по всем предметам, читала Дюма или вязала длинные яркие шарфы, которые наматывала с осени по весну поверх курток и пальто. С пятого класса у Нинки обнаружилась незаурядная склонность к английскому языку. Она с головой окунулась в изучение всяких там Present Perfect и Future in the Past, ее английский вокабуляр рос в геометрической прогрессии. К окончанию школы Нинка читала Диккенса и Моэма без перевода.

По субботам, когда мама принималась печь ванильные булочки, Нинка пристраивалась сзади, обхватывала руками материнскую талию и через плечо наблюдала, как та разбивает яйцо одним точным движением о край миски, и желток, как маленькое солнце, падает в муку. Потом они втроем садились пить чай за круглый кухонный стол. Нинка ластилась к отцу, пока мама разливала чай по большим синим бокалам. Плюшки, посыпанные сахарной пудрой, сильно румяные, даже слегка пригорелые, улетали под доверительное воркование и смех.

В доме Лопатиных витала редкая аура, мягкая, как шелковый кокон. Родители Нины напоминали два дерева, выросших из одного корня: их кроны колыхались порознь, но под землей они сливались в единый организм. Дома они всегда находились рядом. Это было их естественное состояние, как дыхание. Мать поправляла отцу воротник рубашки выверенным движением, которое она повторяла тысячи раз. Он улыбался уголком губ, не прерывая фразы. Вместе они прошли испытание болезнью ребенка, событием, которое способно рвать самые крепкие связи. И вот теперь, когда страшное осталось позади, они как будто выдохнули после изнуряющего забега и теперь стремились наверстать то время, что уделяли не себе. Остальное – быт, работа, даже иногда Нинка – существовало где-то на периферии их отношений, как фоновая музыка, которую можно в любой момент приглушить. Они работали, заботились о дочери будто походя, как ныряльщики, всплывающие на миг за воздухом, чтобы снова погрузиться в теплую, привычную глубину. Нинку такое положение вещей не обижало, наоборот, она боготворила родителей. Их любовь не душила, не требовала ничего взамен, она просто была, как воздух в комнате, надежная и неиссякаемая.

Глава 3. Звезда Альтаир

– Ребзя, Нинка с обрыва бросаться пошла! – лопоухий Толя Шибздик прибежал за клуб и выпалил последнюю новость.

Горстка скучающей ребятни оживилась, загудела.

– Куда пошла-то?

– Да на обрыв пошла, говорю же! – Толик махал руками. – Я иду, смотрю – Нинка кустами побежала, злая, глаза стеклянные. Я в клуб. Там тихие из третьей палаты сказали, что Леха на медляк Танюху пригласил. А Нинка тихим сказала, мол, все, пойду убьюсь. Ну, я сюда, ясен перец!

Леха считался Нинкиным парнем на этой смене.

– Ой, мамочка! – запищали девчонки. – Вдруг и правда прыгнет!

Пацаны зашевелились, но первыми не подорвались.

– Ребята, бежим! – крупная долговязая Катя рванула первой.

Бежали знакомой тропой, закрой глаза – дойдешь по памяти: по бетонным плиточным дорожкам сквозь шиповниковые кусты, заросшие, густые, со зрелыми плодами, потом направо, через вытоптанный песчаный квадрат утренней линейки. Флагшток, мачта корабля-призрака, вокруг ни души, усталый флаг спущен и болтается внизу безжизненной тряпицей, будто и не реял, не трепыхался на ветру целый день. Бежать оставалось немного, через небольшую спортплощадку, сквозь кусты на границе лагеря, в дырку в заборе – и вот уже замаячила песчаная полоска берега, за которой река. Берег крутой, высокий, не меньше трехэтажного дома. По самому краю обрыва – огромные сосны, корабельные, прямые, как мачты, с голыми, растрепанными ветром корнями.

Первым вырвался Димас, за ним – Катя и два Мишки, потом – Светка. Жека Дебаркадер и Дуня бежали последними. Двигались молча, и каждый слышал, как сердце ухает не в груди, а где-то в висках, возбужденное новым, с неизвестным концом событием.

Дуне исполнилось двенадцать, а Нинке тринадцать, когда они впервые поехали в загородный лагерь. Конечно, вместе. Вера Петровна из кожи вылезла, а достала Дуне путевку в один лагерь на одну смену с Нинкой.

Узкая тропинка от забора к берегу почти заросла кустами и травой. Подростки продрались сквозь заросли, спотыкаясь о камни, хватаясь друг за друга, и застыли в нескольких метрах от обрыва.

Растущая луна чертила на реке дорожку, ветер стих, и невесомая маленькая волна накатывала и отступала, робко нарушая предночную тишину. Вечернее небо в начале августа чистое-чистое, усыпано мелкими, как манная крупа, звездами, которых не счесть. Где ты, звезда Альтаир? Не узнать тебя, не найти. Закатилась куда-то глубоко за пазуху, туда, где стучит и екает, и не вынуть тебя, не выскрести.

Ребята уставились на Нинку. Та стояла на краю обрыва лицом к реке.

– Нинка, не надо! – крикнула Катька рванулась к берегу.

Жека Дебаркадер схватил ее за руку.

– Не ходи.

– Отстань, – Катя вырвалась и медленно пошла по редкой траве, засыпанной сосновым опадом. – Нинка…

Нинка дернулась и сделала маленький шаг вперед. Дуня со Светой вскрикнули. Катя отошла назад и подойти к Нинке больше не решалась.

На такой постановочный побег с театральным сюжетом могла решиться только Нинка Лопатина. Заводная, «своя в доску», она, обделенная вниманием одноклассников, в лагере купалась в мальчишеском обожании. И тогда, ежась на берегу в свитере, связанном из остат-

ков разноцветных ниток, узких кримпленовых брючках и тряпочных балетках на босу ногу, Дуня смотрела на Нинку с восхищением. Нет, Дуня не завидовала ей, потому что никогда не завидовала лучшей подруге, но немного грустила. Она бы так не смогла.

За спинами ребят послышался шорох, из кустов по тропинке выкатились Таня и Леха. Лицо Тани, в раме каштановых, чуть вьющихся густых волос, казалось совсем кукольным в гаснущем вечернем свете. Она стояла, хлопала глазами и смотрела не на собравшихся, не на Нинку, а куда-то в сторону. Все замерли.

Нинка спиной почувствовала шевеление и шагнула еще вперед, на полшага. Но этого хватило, чтобы дернулась невидимая веревочка. Леша молча подошел к рыжей актрисе, взял ее за руку и повел в лагерь. Толпа побрела следом. Каждый по-своему переживал сюжет, молча пробираясь сквозь кусты, хмурясь или равнодушно смотря вперед. И только Дуня увидела на лице подруги победную ухмылку, которая на доли секунды ознаменовала Нинкино торжество и тотчас слетела от вечернего ветерка. Очередной маленький триумф. Дуня радовалась и улыбалась вместо Нинки, не прячась.

***

В одну из ночей сговорились отправиться к старой церкви. Луна висела над лагерем поблекшим серебряным значком, тишина разлилась между заснувшими корпусами густым молоком – самое время. Днем «пионеры» бывали там не раз: карабкались по обвалившимся стенам из красного кирпича, трогали пальцами шершавые плиты надгробий, пытаясь прочесть имена тех, кого давно стерла земная память. От прицерковного кладбища осталось лишь несколько каменных плит, наполовину ушедших в землю, будто их медленно засасывала вечность. Буквы на них, некогда четкие, теперь расплылись, затерлись ветрами, растворились во времени. Ночью к церкви никто не ходил. Пионерские легенды об этом месте жили годами, десятилетиями, как мох на тех самых надгробиях: шептались о шагах без тел, о свечах, которые вспыхивали в пустых оконных проемах, о призраках.

Одна Бабка с топором чего стоит. Поговаривали, будто жили в деревне муж и жена. Жили они славно до преклонных лет. Но ударил деду бес в ребро, и влюбился он к сединам в заезжую бабу. Не любовь, а наваждение какое-то. Стал дед за заезжей ходить, знаки внимания оказывать, дарить подарочки. Дедова жена смотрела на все это, причитала сначала, мол, хрен ты седой, позоришь и меня, и детей с внуками. Дед только отмахивался и бежал к молодой зазнобе. Тогда бабка не выдержала, летней ночью взяла топор и пошла к заезжей бабе. Зарубила бабка ее топором, а голову на забор повесила. Потом вернулась домой, зарубила деда, и его голову тоже повесила на забор, рядышком с головой разлучницы. Но не пристало жить ей с таким грехом. Пошла бабка на двор, положила руку на чурбан, на котором дрова кололи, и тем самым топором отрубила себе руку и умерла. Деда с разлучницей похоронили на том кладбище, рядом с церковью, а Бабку с топором закопали за деревней, ближе к лесу. Не следовало таких на кладбище хоронить. Вот теперь каждое лето выходит Бабка с топором из могилы и бредет на кладбище, чтобы зарубить всех, кто попадется под руку. Слишком зла она до сих пор на деда и на всех людей.

После отбоя пришлось коротать время до часу ночи. Пацаны пробрались в палату к девочкам, шептались, нагнетали обстановку, входили во вкус.

– Включила девочка в третий раз черную пластинку, и приехал за ней черный гроб на колесиках, вылезла оттуда черная женщина, протянула к девочке руки и закричала: «Отдай свое сердце!»

Мишка Острогин схватил Нинку за плечо и начал трясти. Нинка вскрикнула, но он быстро зажал ей рот рукой. Нинка двинула ему по голове:

– Урод!

Мишка радостно захрюкал, остальные загудели, зашипели. Никто не хотел оказаться на Нинкином месте. Страшно! Прислушивались к каждому шороху, кожа то и дело покрывалась мурашками. Стоило только ветке за окном пошевелиться, тут же пробирала дрожь.

– И каждую ночь стало появляться у них в доме на стене красное пятно.

– Схватили зеленые занавески детей, и больше их никто не видел.

– Черный вожатый усыплял детей, отрезал у них волосы, а ночью сжигал их на костре.

– Детей?

– Да нет, волосы.

От шепота клонило в сон, но подростки крепились, подбадривали друг друга, бравируя смелостью. Пришло время выходить. Собрались, надели кеды, накинули кофты, курточки – холодно ночами в августе. Тихо открыли створку окна и вылезли через тесный прямоугольник в прохладный сумрак. После душной палаты, пропитанной запахами потных растущих тел, свежий воздух казался сладковатым, пряным, обалденно вкусным. Изредка стрекотали кузнечики, в полоске высокой травы крякал коростель.

Тихо, друг за другом, пригнувшись, бежали по дорожкам мимо клуба к забору. Перелезть забор – раз плюнуть, перемахнули без происшествий. Повезло, никто не засек. Шли по дорожке в сторону берега. Справа – густой лес на много километров. Света, Катька, Таня, Нинка и Дуня шли в одну линию, сцепились руками: и теплее, и не так страшно. Впереди шагала парочка Мишек, следом – Леха, Руслан и Димас, замыкали процессию Жека Дебаркадер и Толя Шибздик.

Ребята перешли футбольное поле. Через триста метров показалась она, разрушенная Крестовоздвиженская церковь. Двести лет назад собирали на эту церкву всем миром во имя Креста Господня, преподобных Николая Чудотворца и Сергия Радонежского. И вышла церковь немалая, пятиглавая, с большим петербургским шпилем колокольни, видно, велик и богат был приход. Семь колоколов пели на разный лад, а голос Большого Благовеста слышался километров за десять. Больше столетия молились здесь люди, крестились, исповедовались и отпевались. На Крещение вырубали в реке купель – Волга-то, вот она, рукой подать! Святили на Пасху куличи и яйца, ходили вокруг церквы крестным ходом. Но не в угоду стал русский храм, разрушили его еще до Великой Отечественной. Давно уж нет ни куполов, ни святых престолов. Что не разрушили, то разграбили. Остался от церкви один угол из двух соседних стен. Двенадцать окон – восемь прямоугольных да четыре круглых – зияли дырами, превращая каменную кладку в ажур.

– Ребзя, страшно не по-детски! – Толя Шибздик крутился вокруг Жеки, то и дело забегая вперед. Плечи его нервно вздрагивали.

– Не ссы в компот, – отрезал Дебаркадер и схватил Тольку за шиворот. – Не юли, в глазах рябит.

Выпученные Женькины глаза говорили, что ему тоже страшно, но не мог же здоровый рослый бугай в этом признаться, да еще при девчонках. Шибздик послушно засеменил рядом с Дебаркадером и даже тайком уцепился за край его куртки.

Чем быстрее приближалась церковь, тем медленнее они шли. Дуню знобило от страха и прохлады, ей хотелось послать всех подальше и вернуться в лагерь, в теплую душную палату, на промятые пружины кровати под тоненькое одеяльце. Девчонки поскуливали и манерно жались к пацанам, прячась за их спины.

– Да ладно, все нормуль, – Леха взял Нинку за руку и повел к могильным плитам. – Сейчас через кладбище к стенам пролезем, обойдем вокруг, да назад.

– Сто раз уже к стенам ходили, – прошептал Мишка Калинин.

– Так это днем ходили, а ночью не ходили, – прошипела Катька.

– Что ты вообще тогда с нами поперся? – бубнил Руслан.

Таня, Света и Дуня остались стоять у надгробий.

– Хватит бакланить, пошли, – Леха, держа Нинку за руку, ступил на ближайшую могильную плиту.

Вдруг со стороны церкви послышались звуки падающих камешков. «Пионеры» оцепенели и обернулись на шум. Из-за стены появилась белая фигура без лица и безмолвно двинулась на них. За ней появилась вторая, за ней еще, и еще…

Ребята на секунду застыли, но уже через мгновение с визгом бросились врассыпную. Леха рванул первым, бросил Нинкину руку и быстрее лося побежал к футбольному полю.

– Ты че, козел! – заорали Мишки вслед удирающему Лехе и подхватили одуревшую Нинку с двух сторон.

Девчонки понеслись следом за ними, не переставая визжать и оглядываться. Фигуры молча летели за ними и размахивали белыми одеждами.

Кочки и рытвины под ногами мешали бежать, дыхание перехватывало, а сердце то выпрыгивало, то почти останавливалось. Во рту пересохло, на глаза наворачивались слезы, но они бежали и боялись остановиться. Девчонок обогнали Руслан и Димас.

– Призраки, бля-а-а-а!

Последним бежал Жека Дебаркадер. Тучный и неповоротливый, он задыхался и еле перебирал ногами, а на кармане его куртки висел щуплый Толя Шибздик и всхлипывал от страха.

До ворот лагеря – рукой подать. Дуня обернулась и увидела, что Жека упал. Рядом с ним корчился Шибздик, безуспешно пытаясь поднять Дебаркадера за руку. Бледный Жека оттолкнул Толика от себя и закричал:

– Беги, Толька, беги!

Жека уронил голову на руки, в дорожную пыль, сухую, колючую, пропитанную жаром ушедшего дня. Плечи его вздрагивали, громкие неукротимые рыдания вырывались из напуганного до смерти нутра. Дуня замерла. Остановились и девчонки. Они стояли и смотрели, как призраки приближаются к Дебаркадеру.

Дуне бы побежать, крикнуть, схватить Жеку за плечи, вытащить из этой пыли, из этого ужаса, но она не могла двинуться ни на шаг. Ноги стали чужими, тяжелыми, надгробными плитами ушли в землю по колено. Она стояла в этом внезапном параличе, жалкая, с влажными ладонями и пересохшим горлом. А Женька лежал, боялся Бабки с топором и плакал. Скукожился на земле, ноги под себя подобрал, приготовился, что сейчас его, вот-вот, уже… Господи, мама родная, царица небесная, матушка, спаси и сохрани!

Три призрака склонились над Жекой и потянули за руки. Он заорал, как безумный, заколотил руками и ногами, стараясь вырваться.

От испуга Дуня крикнула так, что услышали ребята, которые успели добежать до лагерных ворот.

– Цыц, малявки, ну-ка не орать! – с призраков упали наземь белые одежды.

Лена, вожатая первого отряда, поваренок Костя и Валерка-радист держали обмякшего Женьку и улыбались. На дороге валялись казенные пионерлагерные простыни с черными опознавательными штампами в драных углах.

– Эй, пионер, вставай! – Лена аккуратно тронула Жеку за плечо.

Два призрака запоздали и прилетели последними – вожатая Наташа и физрук Михалыч. Наташа собрала простынки в куль и завязала узлом.

– Будете знать, как по ночам шляться! Эй! – помахала она сидевшим на железной воротине дезертирам, – давай сюда!

Пацаны переглянулись, пошептались, убедились, что призраки никому не срубили башку, и нога за ногу двинулись в сторону большинства.

Рядом с Дебаркадером крутился Толик, поддерживая друга изо всех шибздиковых сил.

– Михалыч, – скомандовала Наташа, – бери Жеку, и давайте все к берегу. Сейчас костерок запалим, отдышимся.

Михалыч взвалил парня на плечо и потащил – Женькины ноги идти отказывались. Дуня шла рядом и отряхивала от пыли дебаркадерову куртку и штаны в убогой попытке загладить вину, хотя бы чуточку реабилитироваться этой мизерной заботой за ту подлую трусость, которая случилась с ней пять минут назад. Лицемерие, конечно, но человек слаб, утешается как может.

Костер разожгли на песке почти у самой воды. Наспех собранные сосновые ветки и сухостой занялись быстро. Сосновая хвоя с треском горела, отдавая в ночной воздух трепетный аромат. Нависающий крутой берег обнимал и прятал ночных гостей.

Жеку еще потрясывало, и его усадили поближе к огню, накрыли пятью белыми простынями, чтобы согрелся. Сначала молчали, веселиться никому не хотелось. Нинка забилась береговому откосу, подальше от Лехи, и смотрела себе под ноги. Дуня что-то шептала ей на ухо, успокаивала. Катя и Светка совали сосновые веточки в костер. Иголки вспыхивали на мгновение и тут же сворачивались в крохотный клубочек серой золы. Тишину нарушил Лешкин голос:

– Ну ты, Жека, даешь! Разревелся, как девчонка! Что нюни-то распустил?

– Ты зато не распустил, –Мишка Острогин брезгливо сплюнул сквозь зубы, – бросил девчонку и подрал, как олень, только пыль из-под копыт.

– Заткнись! – огрызнулся Леха.

– Сам заткнись! Нинку бросил, друга бросил. Я думал, ты пацан, а ты, оказывается, говно.

Леха вскочил и ударил Мишку в грудь. Не ожидавший нападения, Острогин полетел в песок. Не успел он вскочить, Димас и Руслан схватили Лешу и усадили на место.

– Кончай, Леха, выделываться, ты сегодня не в масть, – тихонько сказал Руслан, глядя в сторону.

Леха сжал кулаки до белых костяшек. Какая-то гнида посмела опустить его перед всеми, и перед вожатыми тоже!

Дуня посмотрела на Дебаркадера. Он согрелся, дрожь прошла, только глаза его впали и казались пустыми, будто высосанными. Пухлый потешный Женька, который вечно прикалывался над товарищами с серьезным видом, в эту лунную ночь сник и завял. Шибздик сидел рядом, прислонившись к мягкому боку друга, и дремал, разморенный теплом костра.

– Это тихие нас слили, – Руслан пошевелил угольки.

– Наташа, это ведь тихие вам сказали, да? – прищурился Димас.

– Какая разница? – сонно ответила Наташа, – работает разведка, и хорошо. Нам спокойнее.

– Ну а все-таки?

– Не скажу. Я как та могила, – Наташа кивнула головой в сторону церковного кладбища и засмеялась.

– Убью гадов, порежу на шнурки, – Руслан смачно харкнул в костер.

– Помолчи уж, мясник недоделанный.

Вожатая Лена затянула песню:

– …Пусть загорится звезда Альтаир.

Остальные подхватили вполголоса:

– Звездопа-а-ад, звездопа-а-а-а-ад,

Это к счастью, друзья говорят…

Поваренок Костя вынул из-за пазухи целлофановый пакет с сухарями. Добычу вмиг растащили по кусочку и хрустели до боли в зубах. Горбушки, которые оставались в столовой после нарезки хлеба, повара раскладывали на противни, солили и сушили в духовке, отчего сухари получались воздушными, рассыпчатыми.

– Так, пионерия, – Лена хлопнула себя по коленкам, – пошли в лагерь, часа три уже, пора баиньки.

Ребята заканючили, чтобы посидеть еще, хотя бы полчасика, отоспятся в тихий час, но Лена была непреклонна:

– Это у вас тихий час, а нам работать надо. И так ночью выгуляли, скажите спасибо. Хорошего помаленьку.

Наутро о казусе Дебаркадера знал весь лагерь. Леха постарался. Очернил другого, обелил себя. Прием безотказный, стреляет без промаха.

Нинка до вечера пролежала в палате, выходила только в столовку. Первое предательство, мелкое и почти незаметное, изрядно наследило в ее душе. Леха приходил мириться, но девчонки, как галки, налетели на него и прогнали.

Не пришел на завтрак и Жека Дебаркадер. Напрасно Дуня высматривала его в обед среди мальчишек: обедать он тоже не пришел. Дуня взяла его порцию макарон с колбасой, четыре куска хлеба и понесла Жеке в палату. В тот момент она совершенно забыла, что Женька дал ей обидное прозвище – Мелкая. Палата пустовала. Дебаркадер лежал в кровати лицом к стене, до подбородка зарывшись в одеяло. Дуня поставила тарелку на тумбочку:

– Жень, я тебе обед принесла. Поешь.

Она молча постояла еще с минуту.

– Прости меня, пожалуйста, – прошептала Дуня и направилась к выходу.

Женькино хриплое «спасибо» застало ее уже в дверях. Он повернулся и увидел, как мелькнули в дверях щуплые плечики, темные волосы, собранные на затылке в длинный хвост, и тонкие ноги в синих кримпленовых брючках.

***

Следующий день начался как обычно, по расписанию: утренняя зарядка, линейка, завтрак. Повара уже гремели баками, бухали полными чайниками на раздачу, из чайных носиков плюхались блеклые коричневые лужи какао с ошметками пенок. Пахло пшенной кашей вперемешку с прелой кислятиной ветоши, которой вытирали столы.

Зазвучал горн, и в столовую ворвалась безумная толпа детей, не столько голодных, сколько диких, необузданных, которые вырвались из домашнего плена. Шестилетки-букашечки входили через отдельную дверь, чтобы их не затоптали старшие. По кафельному полу заскрежетали железные ноги табуреток, застучали ложки.

В душной столовке вожатые оживленно разговаривали с поварами, резко жестикулировали, казались непривычно возбужденными.

Только отзавтракали, свежий воздух августовского утра резануло чихание лагерного громкоговорителя. Из серого рупора под крышей клуба грянули песни Великой Отечественной войны. Хрипящие, как из старого патефона, они поплыли над одноэтажными корпусами, кустами и дорожками, над недоумевающими детьми, которые то и дело поднимали к небу любопытные глазенки – что случилось?

Новость расползлась по лагерю как круги от брошенного в воду камня. Москва, переворот, танки, путч… Новость, подогреваемая военными песнями, отзывалась в детских сердцах тем же волнением, каким с самого утра бурлила взрослая жизнь. Само слово «танки» звучало грозно, будто глухое рычание войны, и это рождало отчужденный, не пережитый, книжный страх. Для тринадцатилетних подростков эта тревога стала столь же реальной, как Черный Вожатый и Бабка с топором: давно с кем-то случилось, но не с ними. По счастью, им была позволена роскошь мирного детства, знакомого с войной лишь по параграфам школьных учебников, фильмам и песням, которые неслись из радиорубки клуба. Новость будоражила воображение: что же будет, если танки доберутся и до города? Как там родители? И если все же война, заметят ли затерянный в соснах загородный лагерь? Наверняка не заметят. Тогда они выживут, двести «пионеров» и тридцать воспитателей, вожатых, поваров, уборщиц и посудомоек. Ах, да, еще физрук и радист. Дуня запомнила тот день – 19 августа 1991 года.

Лагерь откликнулся на событие страны подручными средствами. Из комнаты, хранившей невостребованные останки пионерского движения, вытащили на свет Божий барабаны и флаги, на детей напялили алые пилотки.

– И нам, и нам пилотки! – голосили девчонки.

Атласные прямоугольные шапочки соскальзывали с волос, и девочки прикалывали их заколками-невидимками. Так и ходили в них целый день и сняли только на дискотеку.

К вечеру лагерь вновь загудел. Зал дискотеки бесновался. Путч – коротенькое слово, режущее слух, как выстрел хлопушки, прочно врезалось в детскую память.

Наутро не было в лагере никаких танков, а наступил все тот же восхитительный летний восход, когда еще свежа утренняя прохлада, но солнце уже подсушивает выпавшую за ночь росу. Детские отряды шли на утреннюю зарядку, и только дежурные ползли в столовку, где ждали кофейники, тарелки с кашей и вонючая ветошь.

***

Прощальный костер по обычаю жгли на поляне между футбольным полем и церковью. Дрова заготавливали несколько дней. Деревья, достигающие нескольких метров в высоту, складывали огромным шалашом и перевязывали между собой толстой проволокой.

Огонь бежал снизу вверх, карабкаясь цепкими рыжими язычками по бревнам. Играл баян, лились песни. Лагерь пел про перевал, солнышко лесное, изгиб гитары желтой, про звезду Альтаир. Бревна костра медленно прогорали, сверху падали маленькие угольки, в воздухе летали черные клочья горелой сосновой коры. Пепел кружил и медленно падал черными хлопьями. Младшие играли в ручеек, старшие кучковались группками, обнимались, плакали, братались.

Подъехал ИЖ «каблук», и по поляне покатился радостный рев. Привезли большие картонные коробки с мороженым. Вожатые расхватали добычу и понесли своим птенцам. У коробок загалдела вереница ребятни, маленькие цепкие ручонки выхватывали завернутые в промасленную бумагу вафельные стканчики. Кто-то быстро откусывал от мороженого большие куски, кто-то не спешил и с наслаждением облизывал белый холодный шарик. У самых неторопливых подтаявшая сладость текла по пальцам, капала на землю, в траву.

Бревна костра прогорели до седых обглоданных углей и под громкое улюлюканье завалились на бок. Лагерь понесся в клуб, где радист уже настроил аппаратуру. Издалека доносились глухие звуки прощальной дискотеки.

Зал клуба еще пустовал, фанерные стулья на железных ногах штабелями стояли вдоль стен, освобождая место для танцев. Девчонки подтягивались первыми, наряженные, подкрашенные. Пацаны приходили чуть позже, медленно, вальяжно втекали в клуб, делая вид, что зашли мимоходом. Скоро зал заполнился пляшущей ребятней.

Нинка бесповоротно стерла Леху из своей жизни и принимала приглашения на танец от всех мальчиков без разбору. Девчонки, которых не звали на медляки, расползались по стульям у стен, превращаясь в тихую, незаметную кайму вокруг зала. Дуня сидела и смотрела на Нинку завороженно, с той особой нежностью, на которую способен только близкий и родной человек. Дуня наблюдала за ее движениями, которые обрели новую, взрослую плавность, кокетливым наклоном головы с огненной копной распущенных по плечам волос, на кончики оформившихся грудей, которые как бы невзначай касались пацанских впалых ребер, и радовалась Нинкиной популярности. Эта радость делала Дуню причастной к подступающему взрослению, которое к Нинке подобралось на порядок раньше. Дуню за всю смену никто не пригласил на медленный танец. Обидно, ей очень хотелось.

Она засмотрелась на подругу и не заметила, как в проеме двери появился большой темный силуэт. Жека Дебаркадер широким шагом подошел к Дуне и протянул круглую пухлую ладонь:

– Пойдем, потанцуем.

Не доставая до Женькиных плеч, Дуня пристроила руки ему на грудь и ощутила, как ее сердце колошматится о ребра. Казалось, Жека тоже слышит этот бешеный стук. Первое робкое прикосновение теплого мальчишеского тела, его запах, обжигающее присутствие на спине юношеских переминающихся ладоней, коленка, случайно коснувшаяся ее ноги – все это обволокло Дуню дымом прощального костра, окутало мурашками, разожгло лицо. Дышалось через раз, не слушались деревенеющие ноги. Это было так ново и так замечательно!

С прощальной дискотеки «пионеры» возвращались усталые, измученные, но совершенно счастливые. Вытянувшись на кровати с панцирной сеткой, Дуня представляла, как завтра увидит маму, строгую, но такую родную, как будет спать в мягкой кровати у стены с ковром, ощутит непривычную теплоту дома, от которой успела отвыкнуть за три недели, вдохнет знакомые запахи. Радоваться бы, но по щекам текли слезы, потому что с завтрашнего дня на целый год придется распрощаться с миром загородного лагеря, такого любимого, который не выскрести из души, не выцарапать из сердца.

Глава 4. Ритуальные танцы

В конце девяностых подвалы, когда-то служившие бомбоубежищами – эти подземные храмы юности, облюбованные подростками – были одинаковы, как близнецы. Старый обшарпанный диван, который выбросили, наконец, на помойку после двадцати лет праведной службы, тащили в подземелье для нового бытования. Пружины, торчащие как кости старого бездомного пса, застилали покрывалами, отвоеванными у бабушек под их безотрадные вздохи. Стол сколачивали из досок, подобранных на стройке. На липкой от времени и прикосновений клеенке застыли следы бесчисленных вечеров. Стулья, спасенные с помойки, держались на честном слове и куске проволоки. Старенький магнитофон-кассетник хрипел песнями Цоя, Шевчука, Кинчева, Башлачева, Летова, Кипелова; их лирика тогда казалась пророчеством. На лампочку слетались комары и мотыли, пахло сыростью, гнилью, старым диваном и особой тоской, что живет только в семнадцать лет – сладкой и безысходной.

Сколько пива и дешевой водки пролилось на эти клеенчатые столы, сколько судеб переплелось на пружинах этих диванов, известно одному Богу. Это потом подвалы зачистят и закроют на ключ, а пока…

Невинность Нинки Лопатиной ушла туда же, в рваные дыры дряхлой диванной обивки, в скрип ржавых пружин, в темноту подвала, где пахло сыростью и свободой. Нинка вошла в этот мир с любопытством исследователя. Свою невинность она считала дверью, которая рано или поздно распахнется. И Нинка открыла ее не по обычному сценарию: с хулиганом, хозяином двора в среде его обитания – в подвале. Она сделала выбор – пусть наивный, но искренний. И та часть ее, что осталась в душном подвальном полумраке, всегда помнила, как однажды Нинка Лопатина решила распорядиться своей жизнью, что она имеет право выбирать.

С семнадцати лет Нинку и вовсе понесло, и она, по словам матери, ударилась в гулянку.

Могучее трехэтажное здание главпочтамта из красного кирпича довоенной постройки разлеглось в самом центре города. Толстые стены, высоченные потолки, огромные окна: все мощное, монументальное, готовое простоять не одно столетие. Такими же были и подвалы, добротными, сухими, со сводчатыми потолками. В одном из подвалов главпочтамта, в правом крыле, разместился рок-клуб. Предприимчивый любитель рок-н-ролла арендовал подвальчик, подмазал-подкрасил стены, вывел в узкие бойницы подвальных окон вентиляцию, сварганил сцену размером с «хрущевскую» кухню, затарил крохотный бар пивом – и понеслось веселье. В клуб потянулись квартирные и подвальные местные музыканты, искавшие признания, джазмены с натертыми до блеска саксофонами, одинокие мытари с акустическими гитарами, бесноватые панки с ирокезами и клепаными ошейниками, тоскливые банды с дудочками и гуслями, в льняных рубищах, играющие на стыке фолка и рока, веселые барышни с кельтскими танцами. Музыка, разномастная, живая, яркая, хватала за душу и натягивала молодые нервы, как струну на гитарный колок. После концертов начинались танцы, разнузданные, с полоумными прыжками, вскидыванием ног, криками. Седеющие рокеры трясли в такт сальными распущенными патлами, манерные барышни закатывали глаза при виде интересного персонажа и плыли навстречу, готовые слиться в общем безумии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.